Каждую ночь она уплывала в небо и каждое утро возвращалась обратно, потому что была преданной дочкой Земли.

Её хрустальное сердце билось в такт подземным источникам.

Её деревянная кожа была пронизана тонкими желобами от ветра и соли.

Дерево росло сквозь неё и пело её голосом.

Кристально-зелёная трава росла у её корней.

Серый олень сминает мох, из его мягких ноздрей идёт пар.

Мир застывает, и поднимается совсем другое, неподвижное солнце.

-- Слышите, пахнет гарью?

-- К дождю.

-- Должно быть.

Однажды огонь родится во мне и потечет по моему стволу.

Смилуйтесь! Кричит победивший воин, Разве должно быть между нами что-нибудь кроме Бога?

Но кто различит шевеление треснувших губ в пыли и проклятой жаре?

Дух вонзает в него свои длинные смертоносные копья и ему желанны материнские руки, земля тянет его к себе.

Но толпа к толпе, она безлика и многорука, она не дремлет и бормочет, как больной безумец. Она неистова.

И он тяжело воскресает на ноги и вскидывает руку. Солнце в агонии. Солнце в экстазе высовывает кровавый язык, закатив глаза, запрокинув голову…

Да, но что нам делать с детьми, не знающими покоя? Вычерченными поспешно, двумя-четырьмя штрихами, необрезанными, вскормленными мёдом медвежьим? Теми, кого никогда не предполагали, и кто не будет, как мы? Они приходят внезапно, в них есть что-то от бега и от палых листьев. Они пресные и холодные, они, как Мёртвое море.

У неё были огромные, как бы вздрогнувшие, как у Эрота глаза. Ну (разве) могла ли она любить скрип машин и городскую ночь?

У стоматолога он чувствовал себя особенно беззащитно. Он сел в кресло, его подняли почти к небесам.

Он оказался в окружении грудей и мягких глаз. Чужой голос приказал, и рот безвольно открылся. Сверкнула лампа, завизжала бор-машина, пластина прошла между зубами и врезалась в мягкое нёбо, оставив сухой красный след. В лицо ему полетели влажные остатки зуба. Зуб начал ныть и медленно завопил от боли.

Его смерть не принесла ей ничего хорошего. Она успела рассказать только одному человеку, но на неё уже градом сыпались сожаления и сочувствия подразумевавшихся и совершенно необъяснимых (незнакомых) людей. С утра она ещё улыбалась и даже шутила. Потому что всякая удачная смерть хорошего человека – повод для слёз и для диковатого веселья. Отец любил смеяться.

Но ему надоело. C’est la vie. C’est la mort.

За ночь трава поседела. Это был очень холодный день.

К вечеру писем перевалило за две сотни. Она перестала отвечать. Ближе к ночи приехал сын. Он уже три года жил где-то на другом конце света и не появлялся дома. Она отвыкла от него. Это странно (дико). Они сидели на кухне и тихо разговаривали. Она выкурила одну за другой несколько сигарет, пока он не остановил её.

Всю ночь она спала, как убитая или не спала вовсе, не помнила. Не важно. (Всё равно)

Похороны. Она отключила телефон. Иней на сухих листьях. Минус четыре.

-- Мама?

Ма-ма.

-- Что?

-- Ты в порядке?

Она улыбнулась:

-- Лучше задай этот вопрос своей тёте. Завтра мы едем à la campagne. На когда у тебя обратный билет?

-- На седьмое.

-- Значит, есть ещё несколько дней.

У него были горячие сухие руки. В нём было ещё столько жизни, в её сыне, в её любимом сыне.

-- Ты с нами?

-- Да, – просто отозвался он.

В пять утра, когда ещё никто не проснулся, она завела машину и отправилась за город.

Она припарковалась на обочине и забралась на капот. Там, километрах в тридцати отсюда, стоял дом, в котором они жили, когда ей было лет 6-7. Там был особенный запах, она больше нигде его не встречала. Хотелось курить. Она сделала самокрутку. Но спички остались на столе дома. И она положила её в нагрудный карман рубашки.

Пора возвращаться. Она медлила.

Она приехала обратно около шести. Бессмысленно, бессмысленно. Сын ждал её в прихожей.

-- Я волновался, – сказал он, – Стоило?

-- Нет. Ты просто чёртов истерик.

И, обнявшись, они захлебнулись смехом.

Вы знаете много писателей, которых зовут Александр? Их не такое уж большое разнообразие. Александр Дюма. Александр Блок. Их было двое: Блок и Белый. Но Белый – Андрей, значит второй – Александр. Ещё Соколов, но он всё-таки Саша. И тот, который А. С.

Я вижу, как он задохнулся, когда пуля пробила грудь Ленского. Я вижу, как он рыдал в подушках, сжимая кулаки, и боролся, боролся бессильно там, во тьме, где его могли видеть только иконы и глаза бессердечной Наташи – мой ангел, моя непревзойдённая красавица, моя дура. Умолкните, умолкните разом, -- молил он их, но ничего не мог сделать, и слова кислотой стекали по его рукам. И его жгучее сердце сделалось смертельно-больным и язвительным. И в упоительном восторге ждало собственной кончины, дивясь красоте замысла Творца. Благо, недолго оставалось. Сосало под ложечкой.

Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой.

И он бродил с тростью босиком по сосновому бору. И прошлогодние иглы впивались в его замёрзшие стопы, как когда-то в стопы Христа в Гефсиманскому саду. Только наступил ноябрь.

Мои рыбы не знают, что такое дождь. Они законсервированы в своём стекле. Поэтому я поливаю их леечкой и они хлопают ртами от удивления.

Что значит быть маленькой холодной волной при свете десяти лун, когда чистый ветер попадает в гортань вместо песка и снега.

Земля, объятая мрачным насморком. Даже не знаю, что к этому прибавить.

День медленно лёг на город, как тяжёлое меховое пальто. И истомил, затопил его тишиной. И город, изнеженный, устало, в предвкушённой агонии заглянул в синие глаза неба, и полился долгожданный дождь.

И вздохнула земля, и дрожь пробежала по телу города.

Человек ощущает немыслимое притяжение двух древнейших существ, но сила эта так велика, что ему хочется спать.

Знаете, очень грустно спать, когда у тебя насморк, и нет носового платка.

Вы спрашиваете, почему этим двоим суждено встретиться только взглядом? Да, потому что одного их обоюдного согласия достаточно, чтобы навсегда изменить схему маршрутов и расписание поездов, чтобы вы все, смешные, замолчали наконец. А если кожа к коже, дыхание на двоих? Вы неосмотрительны, вам, в самом деле, нужен этот новый потоп?

Да, но, что нам делать с детьми, не знающими покоя? Теми, кто любят, ранят и каются с невыносимой честностью?

Он варит себе тёмно-коричневую гречку, пробует её, выводит одними губами самому себе: «пересолил» и кладёт ложку. Сутулость. У него давно нет близких….

Она без всякого зазрения совести ела капусту, свинину и говядину, но боролась за права кроликов и на Новый Год ставила искусственную ёлку, потому что должны быть пределы жестокости, и действия в меру и стремление к золотой середине необходимо.

Он считал, что на всех высоких зданиях и мостах нужно повесить таблички: «Прыгая, убедитесь, что внизу никого нет» и «Не курить». Мол, если вы делаете глупости, так хоть не посыпайте голову пеплом мирным согражданам. Вам-то уже что? А им – неприятность.

Мне грустно смотреть на беспомощные руины старого города. Самое горькое в этом мире, что некоторым птицам тоже приходится умирать и, что самые удивительные голоса замирают и растворяются в беззлобном оглохшем небе. Но как может исчезнуть голос?

По сути, нам принадлежит только выбор. И выбор этот между жизнью и смертью. Не обманывайся, всегда между ними.

Ну, скажем, апрель.

Вы когда-нибудь встречали весну в провинциальном городе, или, положим, в предместье? Продымлённый весенними кострами воздух, первый ярко-полосатый воздушный змей, крепко застрявший в ветках.

Улицы постепенно останавливаются, становится тише-тише…. Тише… и наступает живая ночь.

Существует только Абсолютная Смерть и Абсолютная Жизнь. Как одно, так и другое редко встречается на Земле. На Земле живёт притяжение.

Горло дышит трубой,

Мне не под силу сегодня

Высится над тобой,

Маленький мир ходячих.

Я притворюсь домиком,

Со скрипучим крыльцом и двориком.

Я не боюсь дождя и тумана, но прошу, не думай обо мне плохо.

Пространство, укрытое снегом,

Храм, и где-то невдалеке

Персиковая луна,

Чем тебе не весна?

Земля в белом, наверное,

Освещает твой путь в тысячу раз ярче.

А я бы забрала себе месяц,

Уложила его в корзину,

Укутала одеялом,

Чтобы он согрелся и выспался.

Я бы осторожно запеленала твои белые ноги,

Ты так устал, но боишься снов, как ребёнок.

А мне страшно, когда смотришь на меня так пристально.

Я живу на краю света,

Где каждый день

Кончается полным крахом.

В свете фонаря мои пальцы

Становятся плоскими и серыми,

Как будто странная игра

Дождя и дыма.

Моё тело

Меняет свои очертания

И тяяяянется…

Отзвуки моего истёртого детства

Доносятся, как музыка ветра.

А я всё пытаюсь влезть в детскую одежду,

Это ли не безумие?

Моей любви постоянно нужны гормоны,

Чтобы впрыскивать их через рот, как лекарство,

Господи! Никогда не думала, что окажусь беспомощной

Перед смертью. Она оказалась близкой моей подругой

И, то и дело, стараясь украсть меня, говорит:

«Что тебе делать в мире, где только люди,

И не осталось богов?»

А я отвечаю: «Я – дыхание ветра,

Если мне не хватает воздуха, где-то должно прибыть,

Значит, я почти уже дух».

И, срываясь с обрыва, взмываю в небо.

Ты проснулся ночью, часов в 5, почти утром.

-- Да.

-- Но на дворе было совсем темно, значит…

-- Погоди, мне трудно собраться с мыслями.

Штацкый

Париж.

Гречка.

Ты смеёшься надо мной.

Пассаж от ребёнка до цыган.

Про замужества и возраст

Теракт

Подумай, как смешно, есть лекарство, чтобы не задыхаться. Когда я его принимаю, то схожу с ума и ощущаю дрожь во всём теле, но дыхание становится верным. Дыхание – моя душа. Вот и получается, чтобы спасти душу мне надо уничтожить сытый анабиоз тела и нарушить порядок привычных мыслей. Какая грандиозная бытовая метафора!

Вообрази, что кто-то проник в суть слова, нащупал вечный корень всеобщего языка и прозрел. И вот он создал удивительный узор, скульптуру, музыку: написал стихи, которые отменяют привычные нам законы. И слушатель, не поняв ни строчки, но подчинившись их силе, уносится в небо, рассыпается тишиной, становится прозрачным, как Ничто, вытягивается в долгий путь и обретает способность видеть и ощущать свою жизнь без всяких усилий. И осознав себя совершенным, как одно гигантское существо, человек говорит: «Это хорошо». Рубеж перейден, эпоха окончена, пора творить новый мир. Прощай, Земля, ты была прекрасна. Пора вновь превращаться в пыль, в пустоту. Да здравствует Новая Земля, и да пребудет с тобой благодать, во веки веков. И отдых от тела, от формы на тысячу лет, там, где и времени не существует.

Кстати, помнишь меня, ровно год назад, в лесу?

В каком?

Сегодня, проходя мимо деткой площадки, я видела безликого снеговика, он стоял в одиночестве, в полутьме, как древний белый дух, заточённый в воду, обречённый на скитания из зимы в зиму, похожий на скифскую бабу, выточенную безымянным безумцем, которому пришла в голову такая дикая мысль, обременить дух плотью.

Это было так далеко, укутано в шерстяные шарфы долгих зимних дней, *затоплено глубоко в неспитом синем кофе ночей*.

Любил ли ты меня когда-нибудь мои глаза или кожу, когда смотрел на меня? Ты уже и сам не вспомнишь. Но мою ладонь, мою ладонь страстно любил чёрный язык фломастера, когда ты рисовал на ней глаз. Он растворился в своей любви, сгинул, иссох, обессилел и онемел навсегда. А она по сей день, после стольких веков февраля, хранит его следы. Еле заметные, но незаменимые «трасы», отпечаток, похожий на прикосновение сна.

Любил ли ты меня когда-нибудь, мои волосы или хотя бы молчание? Мы никогда не разглядим этого в *смазанной дымке дней*. Но не достаточно ли нам держать друг друга за плечи? На расстоянии вытянутой руки, на расстоянии вздоха, на *расстоянии высунутого кончика языка*.

Любила ли ты меня? Моё лицо, мои уши? (Я-тебя, он-её)

Зачем? Зачем ты спрашиваешь? Она не знает. Она не знает больше, где растут грецкие орехи и цветут вишни, она не помнит теперь, где бьют из земли холодные источники. Где-то там, налево от сердца, лежат холмы Исландии, но о них не забудешь, как не забудешь о собственных щеках или о собственной крови.

Зачем? Зачем ты спрашиваешь её? Она не знает.

Поцелуи глаз, поцелуи рук. Между нами столько молчания.

Она беспокойна, как горячка. Ей непонятно, она страшиться.

У него ОРЗ. Ему жарко. Его сознание кипит.

Её окатывает льдом. Она падает на мягкие-мягкие-мягкие подушки.

\*\*\*

10-метровая башня. Ей просто нравилось ощущение свободного падения. Чем выше, тем лучше. Она не раздумывала.

Страх. Иногда её тело боялось. И тогда она уговаривала, увещевала его. Но если это не помогало, она говорила: если прыгнешь сейчас, то проснёшься. И тогда тело само бросалось. Дикое, как рысь – это её удивляло – и падало слишком быстро, но не просыпалось. Обманщица.

Ей казалось, она могла бы так прыгнуть, *откуда угодно и хоть на камни*. А потому в горах она молчала, она ничего не говорила своему телу, и только цеплялась холодными влажными пальцами за выступы и мох. А внизу где-то кружилось море, и барахтались скалы, но она молчала. Она ничего не говорила.

Сперва ты выталкиваешь себя, потом отрываешься от опоры, и в этот момент жребий брошен. Ты летишь вниз медленно-медленно-медленно и входишь в твёрдую воду.

Ей просто нравилось ощущение свободного падения. Чем выше, тем лучше.

\*\*\*

Она посмотрела записи. «Ваниль», -- подумала она и перечеркнула ночь, ночь бдения Агни.

\*\*\*

Вагина.

Вульва.

Моя богиня.

Йони.

Источник.

Я схожу с ума.

Она пахнет грибами. Она пахнет сыростью.

Она пахнет ночным вагоном метро в тёмном туннеле.

Она рождена, чтобы жать спелый ветер и впитывать дождь.

Она носила бы зубы и листовое золото, она носила бы оперение, она носила бы все звёзды и созвездия неба. Она кричала бы петухом и скалила бы клыки. Она бы смеялась, она бы шептала, молчала бы. Она предстала бы перед ним обнажённой. Она – рот, лёгкие, сердце, ноздри, зрачок…

Лингус.

Любовь моя.

Пальцы, волосы, язык, вены, кости.

Виноградарь, дракон, шипение.

Так просыпается Агни и умирает Майя. И потекут молочные реки по сухим улицам города. Затопят герани и сонных кошек. *Сомкнут в себе* Солнце и Луну. И млечный путь растворится в солёной молочной реке.

И где-то там, внутри молочного Космоса родится сверхнова.

\*\*\*

Неужели так трудно ответить да?

Верно, трудно. Ничего не стоит ответить нет. Да – всегда риск, да – отчаяние, да, безобразие! Да, я в ответе! Да, мне не стыдно! Да, я волен и чист перед самим собой! Да, я дышу, яростно, я росту и скоро выросту в исполина! Да, я жив! Да! Мне весело теперь! Да, я нахожусь именно здесь, в общем потоке боли, в это самое время я смеюсь! И я спокоен! Потому что я больше никогда не буду плакать! И Да! Я БЫЛ, ЕСТЬ И БУДУ! Я дух Радости, я Дух Дающий, Дарящий, Насыщающий! Я есть! Да, да и да! Да!

Да, в сердце моём открыт глаз, да, я вижу тебя. Да, тебе будет страшно не найти меня. Да возводит тебя на трон бытия. Будь осторожен, используя это слово.

-- Ты очень расстроишься? – спросила я.

-- Нет. Не очень, -- ответил он, и посмотрел на меня так, как будто он может сдохнуть от такого «не очень».

«Чёрт, парень, как с тобой скучно», -- подумала я, но вслух, понятно, не сказала, потому что он бы точно сдох. А с трупом даже скучнее, чем с ним. Я не знаю, что делать с трупами.

О, это непередаваемое ощущение, когда ты получаешь уведомление, что твой возможный работодатель только что прочитал письмо, отправленное 9 часов назад. Вот он открыл его. Проходит одна минута, вторая, третья. Честное слово, эта прелюдия может довести до оргазма. Проходит ещё 24 часа. И ты получаешь ответ. Адреналин зашкаливает. Ты не знаешь, готов ли ты. Достоин ли. Сможешь ли перенести отказ, а тем более «да». О, Господи. Рука как бы невольно тянется. Письмо вскрыто… Ты поднимаешь глаза. Вчитываешься. Письмо гласит.

Ну, не знаю, может нам встретиться лично?

Не думать об Этьенне довольно просто. Достаточно просто не думать об Этьенне. Я вот, например, совсем не думаю об Этьенне и в особенности о том, какими духами он пользуется и, что за история у него была с Тильдой Суинтон. И, уж конечно, я не думаю о нём в 5 утра по четвергам. В сущности, это довольно просто.

Кричи, кричи, моя душа, я хочу, чтобы ты кричала!

Когда ей было 16 она сваривала заживо целые империи. Она выносила чайник кипятка во двор и выливала в самый центр, и наблюдала, как барахтаются скукоженные чёрные тела и всплывают невылупившиеся яйца. Иногда ей казалось, что однажды они придут за ней, невыносимо красные, но она знала, что это произойдёт ещё не сегодня и не завтра. Сначала вода попадала в центр муравейника, потом струйки протекали по проходам и добирались до самого сердца гнезда.

Она ненавидела их так сильно, как только умеют люди.

Она говорила, что любовь – самое главное в её жизни. Но её любовь превратилась в ярость, а безответность в безответственность.

Перекручено. Её бюстгальтер всегда был перекручен. Лямки, спереди или там, где застёжка. Он даже не знал, что с ней. Но всегда.

Она перекручивала слова, представления, котлеты.

Он даже не понимал, нравится ли ему это.

Она скручивала ему руки за спиной, когда иногда вдруг, ловила его на улице. Он даже не знал, как это называется.

Вечером они наконец выбрались в театр. Гастроли какой-то оперы. Они взяли самые дешёвые билеты. С их мест видно ничего не было. Во времена, когда строили этот театр, в ложах происходило куда больше любопытного, чем на сцене.

-- Хорошо, что опера, -- прокомментировал Лука и уснул в первые пять минут.

Ей было скучно. Она запрокинула голову на спинку кресла и стала рассматривать потолок. Она баловала себя мыслью, что никто, кроме неё, не знает, какой потолок в ложах.

Лука бормотал во сне.

Она скучала. Лу-ка лу-ка.

Она опустила руку и потихоньку трогала пальцами бархатные стены. Мизинчик, безымянный,. Средний, указательный, большой.

Шершавый, волнистый, мягкий, плюшевый, тра-та-та-та-та-та-та, барабанный, литавровый, забвенный, баритонный, сентиментальный, любовь моя, алый.

Наконец, солисты замолчали, и зал накрыло темнотой.

Она закрыла глаза

Раз-два-три-четыре-пять – и вот в этом многомерном мраке зашепталось зашумело, зазолотилось многоликое платье Бога.

Люстра зажглась и расставила всех по местам, согласно купленным билетам.

Три-Четыре-Шестнадцать-Двадцать пять.

Лука спал. А антракте она бесшумно накинула на зябкие плечи пальто и ускользнула на свободное сидение в партер.

Задумайтесь, был ли на самом деле спектакль? Не обманываю ли я вас? Во втором акте зазвучали высокие, стерильные голоса. Ей было холодно и пронзительно в ушах от этих звуков. Она думала о больничных коридорах и о кастратах.

Они пели бесконечно, морозно и зыбко. Сцены проносились и безнадёжно растворялись в томном свете прожекторов, не оставляя ни следа. Декорации прозрачными медузами появлялись и уплывали, издеваясь над её глазами флюрисцентно-синим. Ей стало дурно. Зубы свело от тошноты и головокружения.

Когда всё закончилось, над залом зависла пауза.

И тут над зрительными рядами пронёсся оглушительный стон. Это был крик лося, только что разбуженного прямым попаданием дроби в лоб. Это проснулся Лука. Зрители сделались молчаливее могилы и совсем замерли. Она успела подумать о нём так остро и горько, что если бы он проглотил её мысли, то задохнулся бы.

Никто не понял, и скоро толпа запрыгала и застонала, зааплодировала, как бешеная. Европа. Им неважно. Они не обращают внимания на такие вещи. Страшно. Не по себе находиться в толпе. Человек – это звучит одиноко.

Ей надо было поскорее сбежать от театра, от тел вокруг и главное – от Луки и от него уже навсегда. И она затолкалась и затрепыхалась к выходу. На ступеньках её поймал Жиан-грустный монолог.

-- Ты уже уходишь? Всё же жизнь – ужасно унизительная штука. Тебя рождают, растят, влюбляются в тебя или бросают и умирают тебя тоже без предупреждения.

-- Да, да, Жиан. Очень интересно. Но мне так пора…

-- Тебя не слушают, -- меланхолично продолжил Жиан.

-- Прощай, Жиан! Прощай, прощай. Она солдатиком прыгнула в метро и поехала-поехала, куда-угодно.

Не важно.

Он думал о словах.

Концессия, кровоточие, катаплязмы, кривизна, краебежность, десяток горчичных катаплязмов, краезодчество, каторжник, кефир.

-- Что это было?

-- Зарин.

-- Ты уверен?

-- Да. Я… уверен.

-- Откуда ты…?... Ты был в Сирии?

-- Это невозможно. Я родился в 2017 далеко оттуда.

-- Ты не договариваешь.

-- Чего ты хочешь от меня?

-- Объясни.

-- Оставь меня в покое.

Холод льётся по улицам

Ночь уступает

Голуби сидят на антеннах

Как флюгеры

Китайский нос

Вдыхает

Узкой струёй пространство

Холод льётся по улицам…

Тени ложатся на руки

Запястья сосен

Лёгкие кипарисов

Молчание под несмыкающимися веками фонарей

Вот здесь, внутри, мнётся сердце.

Наверное, мне уже никогда его не остановить.

В этом доме даже половицы скрипели тихо и уютно.

Осень, снова осень, зима и лето. В твоей жизни совсем нет возрождения.

Чего я сейчас хочу? Чтобы завтрашний день не наступил таким, каким он приходит обычно. Чтобы внезапно обязательная череда событий разорвалась и впустила бы в себя феерию, чудо, нечто прекрасное, что расставило всё по новым, настоящим местам. Тогда стало бы легко дышать. Но когда чудо долгое время не происходит, а может быть, ты не видишь его, растопырив глаза, то приходится самому становится чудом.

-- Просто иногда мне кажется, что ты смеёшься надо мной.

О да, да, да! Я тысячу раз согласна на всё, что ты предлагаешь! Стану повторять тебе это каждый день до и после нашей встречи. И пусть снег тает на наших пересохших губах, и пусть ветер веселиться, глядя на нас! Мы любим. И мир любит нас. Мы – чудо, мы – исключение.

О, лимонный сад! Прекрасное место,

Где земные плоды, наливаясь золотом солнца,

Висят в тишине, словно небесный дар.

Где боги, жаждущие в сем знойном мире

Приникают губами к нежному фрукту,

И вкушают его с наслажденьем!

Тучи, как потолок. Вид бесконечности всегда нас беспокоит.

Ей следовало родиться французской баронессой в 18 веке. Она умела молчать и слушать, она обладала талантом запоминать истории. Она имела неплохой вкус и умела казаться очаровательной и наивной. В 18 веке её талия, стянутая корсетом, не имела бы никакого значения, а её постель с 12 лет никогда бы не пустовала. Непрестанно сменяющие друг друга герцоги, графы и некоторые куртизанки не уставали бы восхищаться её умом и формами, её ненасытностью, её густым дыханием и гортанными стонами, её отчуждённостью. Потому что в 18 веке она имела бы влияние. В глазах его Величества и не только, и это единственное, что имело бы вес. В 18 веке, как и теперь, она писала бы стихи для себя и потомков, страдала бы от мигреней и одиночества, и имела бы друга по переписке, единственную созвучную ей душу, мятежного графа в бегах, встреча с которым перевернула бы её жизнь, и о судьбе которого она бы неустанно пеклась. Увы, встретиться второй раз им бы так и не довелось. Что уж говорить об интимной близости или о материнстве, которого она так желала, но только с этим мужчиной.

Году в 37 он бы погиб на охоте по нелепой случайности. Она осталась бы безутешна, и в память о нём носила бы траурную ленту на всяком своём наряде. Любовники бы перестали развлекать её, а стихи стали бы вершиной поэзии.

Она бы закончила затворницей в собственном замке, состояла бы в переписке с дофином, наследником престола, и тот находил бы её мнение забавным при других и единственно верным для себя самого. Увлечение поэзией никогда не покидало бы её, кроме того, она написала бы мемуары, которые бы вошли в историю, как ценный документ, и вызвали бы в последствии активные дебаты среди именитых докторов соответствующих наук, – увы, она слишком опередила своё время, -- их признали бы качественной подделкой, но через пять лет оправдали бы вопреки сопротивлению скептиков, и вернули бы на законное место.

Что же касается её самоё, в последние годы, она ударилась бы в католичество и ограничила бы свои контакты до одной бедной родственницы, недалёкой, но милой и преданной девушки и верной служанки. По воскресеньям инкогнито она бы посещала мессу и молилась бы о французском дворянстве и собственной смерти. Однажды зимой её бы не стало. На холодной постели нашли бы её холодное тело. Родственница бы очень плакала.

Стихи, увы, сгорели бы при пожаре. То немногое, что хранил её друг, в последствии было бы разграблено или распродано, вместе с прочими бумагами и в итоге приписано совсем другому автору. Об этом подлоге так бы никто никогда и не узнал. Впрочем, так уж ли редко встречается подобное в нашей истории?

Ей следовало родиться в 18 веке французской баронессой. А 21 – что? В нём нет ни дофинов ни мятежных графов, а если и есть – пффф… Не то. Всё не то.

Задержка длилась третий месяц. И она знала наверняка, что это не беременность. А потом кровь полилась, и лилась, и лилась. Ей было больно и страшно, а кровь лилась, и лилась, и лилась. К концу третьего дня всё закончилось. Она лежала на диване, обездвиженная и измученная, бледная, безразличная, как простыня.

Земля упирается в небо крохотными ладошками ромашек.

На самом деле, она не заметила, как змея через окно вползла в её комнату. А когда заметила, было уже поздно, и даже если бы… – ей не хотелось ничего менять. Она очень устала в тот день и выпила полный до краёв бокал гранатового вина.

Это была молодая кобра, невеста апреля, вылупившаяся глубокой ночью в новолуние. Она как будто была вылеплена из темноты. Змея повела блестящей головой и посмотрела на неё жёлтым глазом.

-- Какая красивая, -- сказала она и протянула к ней руки, ей было всего четырнадцать, она во многом была ещё ребёнком, она любила трагедии.

К тому же она очень устала в тот вечер.

Змея, обвиваясь заползла по левой руке до локтя, а потом до самого плеча. И этот запах кардамона и лотоса свёл её с ума.

Она укусила её в шею, а вовсе не за грудь, как потом любили рисовать.

-- Ах! – вскрикнула она и тихо простонала – а-а-а,-- медленно опускаясь на пол, выложенный янтарём в честь праздника.

Ей хотелось смеяться, но её лицо становилось некрасивым, когда она смеялась, и она сдержалась, счастливо улыбнувшись.

Было совсем не больно.

Только в последний момент её передёрнуло, она неестественно искривилось, схватив змею, так сильно, что та тотчас испустила дух. Ей казалось, что её сжали тяжёлые квадратные руки, высушенные и жаркие, те самые, что сжимали её в объятиях ночь за ночью подряд, но в этот раз так крепко, что кости её как будто хрустнули и сквозь её тело потекла вода, ей казалось, что её стиснули твёрдые ноги и её бёдра как будто прогнулись вовнутрь, ей казалось, что на неё рухнули огромные крылья того бога, что охранял вход в её спальню, однажды она в шутку поцеловала его, ей казалось, что на неё упало огромное лицо и стало пить кровь её сердца – из её лёгких вырвался смех, похожий на стон и она обмякла.

Ущербная луна стоит над моим домом, Александр.

Мне больше не снятся сны, и дети не приходят играть в мои игры.

Знаешь ли ты как холодно бывает в этих чудовищно одиночных комнатах?

Он любил свою жену. Никто кроме него не видел её лица, разумеется. Ни рук, ни тела. Всё это было только его. Принадлежало. Он любил её. Но эти тощие простоволосые бестии сводили его с ума. После смерти они прямиком отправлялись в ад, он хорошо знал это. Он спал с ними. Они знали в этом толк. По сути, они даже не были людьми. Может быть, поэтому в них было столько огня, даже в самых наивных (невинных) из них. Маленькие демоны, вышедшие на землю из преисподней, чтобы угождать мужчинам. Его участие даже благотворно влияло на них. Так он говорил себе.

На самом деле это была вовсе не яблоня, то дерево, под которым он сидел. Но за всю жизнь, ему так и не пришло в голову задаться этим вопросом.

По вечерам он приходил на холодные ступени заброшенного храма и слушал ветер.

Упаковываю слова в просторные пластиковые пакеты, чтобы никто случайно не догадался об их натуральном значении.

Вообще-то она совсем не была расисткой, просто когда видела во Франции равлика, её охватывали страх за его жизнь и непреодолимое желание немедленно схватить его и закопать поглубже… да хоть куда-нибудь.

А террористом был вовсе не темнокожий бородач, на которого все посмотрели потом. Это был интеллигентнейший мальчик, изучавший филологию в университете. Ему было скучно.

So, the worst part of December began. And we had to deal with it, like if everything was all right (OK).

Когда он надевал эти туфли, она сходила с ума.

Как он приезжает в дом на своём мотоцикле, закатывает рукава рубашки – стоит ужасная, совсем не майская жара, а по серой ткани, прости Господи, летят утки – берёт ключи, проверяет почтовый ящик, разбирает письма – сквозь цветные стёкла двери ярко сгорает день. Он заходит обратно, на нём те самые туфли. Никель!

Она задыхалась каждый день с 5 утра и до 8 вечера. Это была её работа.

Шахматы. Он сделал её всухую чёрными три раза подряд. Вы даже не представляете себе боль такого поражения. Она отказалась брать реванш.

Она пишет голубыми чернилами на линованной бумаге.

У меня самый красивый в мире ангел. Хатори. Его имя стоит тайной между нами двумя. Он такой высокий. Он смотрит своими лунными глазами в мои лесные глаза.

Их бин Эккерт.

Подойдя к мусорке, и исполнив роль законопослушного гражданина, а ладно, впрочем, это даже скучно продолжать.

Где-то в горячем теле этого города, где-то под его рёбрами, где-то между желудком и сердцем, жил Александр. Все, разумеется, звали его, как угодно, но только не Александр. Она каждый раз придумывала ему новое имя. Cara mio, mio cara, Ноктюрн, До, Дореми, Плотник. Зачем? Зачем ты вспоминаешь капли дождя, так драгоценно сверкавшие на лобовом стекле ночного автобуса? Что же это?

Он длинный-длинный Александр. Она представляла, как он едет в метро, этот худой гигант. Как он всегда наклоняется, заходя в вагон, немного устало, что делает его ещё более привлекательным. Он не здесь, он заметил что-то, что выбросило его вон, оторвало и выплюнуло в слепую ночь, туда, где цвета имеют плотность лезвий, а слова и звуки не находят себе места.

Его глаза такие шоколадно-горькие, их хочется рассматривать долго, как кроны деревьев.

Не обманывайся, она не любит его. Она отравлена им, она давным-давно умерла. А он всё равно любит другую, свинья.

Он дико устал, до потери пульса, ему смутно хочется туда, в сон. Но там так страшно, так пусто, иногда ему снятся кошмары, иногда он летает во сне. Это тоже тошнотворно, но ничего прекраснее он в жизни своей не испытывал.

1936. Она никогда не забудет эту дату, только её одну.

Как же мне повезло, что твоя прабабушка тогда перебралась из Италии в Париж.

Я никогда не буду говорить, как сегодня. И эти слова могут родиться только сейчас.

Какое несчастье полюбить Антуана, и не одного из, а Самого. А, если вы не знаете кто это, то Боже мой, до чего же скуп и нищ ваш мир, до чего он плоский и безрадостный, как вы вообще существуете?

Он взял свой любимый зелёный велосипед с синими шинами и поехал за ними. Он купил этот велосипед несколько лет назад за смешную цену у одного француза. Кажется, его звали Пьер. Это был отличный велосипед. Да, точно, его звали Пьер. Но седло натирало так, что хоть вешайся. Поэтому он редко им пользовался. А теперь его как будто бы подменили. И этот руль… И эти педали… И эта цепь. Он чувствовал всем свои существом, как она перетекает пазик в пазик…

-- Куда, ты говоришь, он подевался?

-- Уехал в Китай.

-- А, ну да. «Нихау-нихау» и всё в таком духе? Ха… Ха-ха-ха…

-- О Господи, и ты туда же.

«Она одела скрипучие сандалии и вышла в сад…» и вышла в сад… А вот что было потом? Вот в чём вопрос. И кто вообще эта самая она? Так думала Джинни, поднимаясь по ступенькам к себе в комнату.

Он вышел из благоухающего сада в маленькую прихожую, где почему-то всегда пахло хлебом. Если бы мы с вами огляделись, то увидели бы что комнт была совершенно роходная и совсем без окон.

Люблю тебя, существо. Ты – моё время. Моё дыхание, ты жила до меня и остнаешься после.

Сквоь цветные тучи, похожие на воздушные озера, просматривалась земля.

Внутри меня плавают прозрачные рыбки.

Будешь ли ты только моей

До окончания этого дня?

Если бы я могла забыть тебя,

Разве пел бы мне тогда ветер,

Упаковывая дым сигарет в полупустые бутылки вина?

Между суицидом будней

И мятным привкусом воскресений

Ты снишься ласточкам

И случайно оставляешь вмятины на остывшем воске моих свечей

Если я не погибну самой нелепой смертью, если со мной не случится какая-нибудь непоправимая катастрофа, я обязательно вернусь в следующем семестре.

Если не будет войны, катаклизмов, если не выйду замуж, а, впрочем, о катастрофах я уже говорила. Если не придёт Будда, Христос, кто-ни-будь, хотя бы Уэс Андерсон, если сама не… Если не буду на последнем триместре беременности, или по крайней мере на первом. Если я не прославлюсь, не выиграю в лотерею и не сниму к этому времени «Крейслера», то обязательно вернусь ровно через три месяца. Или не ровно. В общем, ты понял мою идею.

Если я, конечно, не уеду в Исландию, в Японию или… я пока ещё не решила.

Если я не умру – здесь началось повторение.

Словом. Я вернусь обязательно. И мы, увы, снова встретимся при любых обстоятельствах.

Он доедал натуральный йогурт, задумчиво разглядывая сад. Юджин ворковал с кем-то по телефону в соседней комнате. Он ухмыльнулся. Иногда ему казалось, что с женщинами намного проще. Он подумал о Селин.

В парке ля куле вэрт Рэнэ Домон, наверху, если не спускаться по ступеням, можно прижать её к стенке на узкой дороге и целовать до умопомрачения. Она бы никак не отвертелась. Она бы осталась довольна. Было бы совсем неплохо. В конце концов, он не зелёный мальчишка.

Наверху лежала недописанная статья, чёрт бы её побрал, научная.

Целовать? Он представил себе её длинные волосы поверх цветных граффити, её итальянскую бронзовую кожу на светло-серых камнях, вжатых друг в друга цементом. Она совсем не такая неженка.

Йогурт исчерпался.

-- Юджин, мать твою, я не могу быть вегетарианцем, мне нужно мясо.

Юджин недовольно скривил светлые губы.

-- Ради Бога, сколько раз?... ты обещал мне.

-- Я выдержал двое суток. Помилосердствуй.

-- Пффф…

Юджин сложил руки на груди, подался назад и опёрся лопатками и стопой о стену. И застыл так, как заправская шлюха. А колени у него были что надо.

Юджин посмотрел на него так, как будто ему внезапно стало смертельно скучно, он пожал плечами. Он сказал безразлично:

-- Тебе звонили.

-- Кто?

-- Селин… Что с тобой? Не готов отрапортоваться?

-- Вот дерьмо… Нет, детка. Ничего. Сейчас перезвоню.

Он не удержался, чтобы поцеловать его в губы.

Юджин не откликнулся. Но почти улыбнулся.

Она обожала перчатки. Кожаные, замшевые, сшитые специально по ней. Для её тонких, нежных, хрупких, розовых, тонких пальцев. Ак, как в них смотрелись её кисти, они обхватывали, затягивали их. Так бережно, так туго, так изящно, так крепко. Ах, ах и ах. Кожаные, замшевые, кружевные, атласные, летние, бархатные. Впрочем, нет, разумеется, не атласные. Она была без ума от перчаток.

Одна её любимая мастерская находилась в самом центре Санкт-Петербурга, недалеко от набережной…

Она подарила ему в первый раз перчатки. Да…

Вторую она нашла совершенно случайно. Но такие фасоны больше нигде не делали. Невообразимая удача. Кроме того, там прекрасно понимали по-французски и могли сказать побольше, чем «Добрый день, мадмуазель».

В обеих мастерских её обожали и восхищались её. Да и можно ли было не восхищаться такой прелестницей в то беспечное время?

-- Ах, Машенька, ты опять за старое.

Она одна называла её Машенькой. Это было тайное имя, данное ей при крещении.

В тот год ноябрь наступил холодный и горький. Но всю его горечь мы узнали много потом.

Как же она любила его. Как непростительны бывают порой проволочки, неточности, несовпадения. С какой, бывает, жестокостью, ломают они нашу жизнь.

-- Полно, полно, душа моя, сколько уж лет прошло. Не плачь, Машенька, не плачь, пожалей моё бедное сердце.

Ах, зачем, зачем, зачем жизнь так бессовестна?

Она любила его, он целовал ей руки. Он смотрел ей в глаза, и думалось, небеса смотрят на тебя. Откуда ещё взяться на свете такой любви?

Он был робок. Он был отважен. Он целовал её нетронутые губы, когда только по невнимательности они оставались одни, или хотя бы были скрыты от любопытных глаз.

Навзрыд, навзрыд, душа моя. Такой покинутой, такой потерянной чувствую я себя.

Ах, если бы только он не умирал. Какое счастье мы принесли бы друг другу. Иногда думаешь, лучше бы мне его никогда не встречать. И так невыносимо делается от самой себя. Тошно, родная моя, так тошно. Никуда от этого не сбежать. Да, что поделаешь.

Может быть, и живу ради того только, чтобы здесь, на земле, дольше помнили его.

-- Ах, Машенька, Машенька, горькая моя, что же ты?

Не могу, не могу, родная моя. Помню, как она играл мне на фортепиано, как пели дуэтом, голос его помню, волосы, пуговицы на его мундире. Помню, как шептал он в первую нашу встречу «Io te penso amore». Никогда мне этого не забыть. За что? За что меня так мучают? За что Господь не даст мне покоя?

Как недолго продлилось. В декабре, лучше бы он тогда ни для кого из нас не наступил,

Ах, Господи-Господи. Гуляли по Нескучному вместе со всем семейством. Какая нежданная встреча!

-- Должен поступить по совести, друг мой. Кому, как ни нам? Ну что ты дрожишь? Ха-ха, до чего же ты смешная, мой воробушек.

И он укутывал её потеплее, ну, но что уж?

Что-то дрожало в ней, внутри, как плаямя на втру.

Милый, хороший мой, добрый, не уходи. Страшно мне., так страшно. Оторопь берёт. Не уходи, ради Бога.

-- Ангел мой, что же ты? Что со мной может случиться? Пойдём безоружные, строем, много-много нас будет, нас послушают. Кому же иначе? Можно ли вечно жить в этой дикости? Красиво так будет. Представь себе только.

Не ходи, умоляю тебя, не ходи. Больно так, страшно. Не уходи от меня, , милы мой, счастье моё.

-- Ха-ха. Ну, что же ты, нежное моё сердечко. Мы ещё и не знаем когда. Не бойся, не бойся, ангел мой.

14 декабря. Так поздно, поздно началось утро. Такой стужий был день. Услышала разговор.

Обмерла.

Господи-Господи-Господи

В карете сестра умчалась. Ни одного экипажа. Нет-нет-нет. Бежала по мокрому снегу. Отче наш… Отче наш. Ах, какие чёрные сугробы, как холодно. Да приидет царствие твое…. Как мокро, ножки совсем околели… как на небе так и на земле… стучала.. Откройте, откройте же… Умоляю вас! И остави нам долги наша… где же, скажите, где же, позовите его!... Уже? Ах… И кричать не смогла. Как она бежала. Матушка Богородица. Арханегеле Мхаилие…. Как болели в тот день её глаза, как резало в груди

Не добежала поворота, когда услышала выстрелы. Уж точно знала.

Ей потом снилось, как красные тела спускают под белый лёд Нивы. Не помнила, как добралась домой. Может быть, кто-то её отвёл. Бредила. Трое суток. Отпустите же меня, отпустите. Не отпустили.

А на четвёртый день затихла, ни живая, ни мёртвая.

-- Маша, Машенька, ты смерти моей хочешь, бедная моя девочка.

Ах, если. Если бы, родная моя, если бы только…

В прошлый раз, когда она была им, то есть, мужского пола, её расстреляли. Поэтому в этой жизни она твёрдо знала, что нет ничего глупее, чем умереть за собственные принципы. Она не питала любви к России. Бросалась и с неожиданной прытью рвала детские учебники советского разлива. И, да, в очередной раз пала жертвой русского языка, влюбившись в него без памяти в возрасте 5 лет.

В мае в Аньере-сюр-Сэне бывает в среднем 9 ясных дней и 4 дня с осадками. Выпадает 72 миллиметра осадков – 9% годовой нормы. Относительная влажность воздуха составляет 75%.

Когда никто не видел, он надевал белое оперение, красил губы белилами и превращался в полярную сову. Ему казалось, что в детстве, когда он был орлёнком, ему свернули шею и тогда он родился двуногим, но двуногим, у которого есть тайна. Тайна ото всех.

С улицы Шута она свернула на улицу Кометы, прошла мимо дома Морэ, выкурила сигарету. Ей нравился привкус дерева во рту и в лёгких… Потом попетляла ещё немного и вывернула на улицу Дэруледэ. Она понятия не имела, кто это, но имя ей нравилось.

Девочка с привкусом табака.

Она с тоской посмотрела в телевизор. Там красивые люди красиво занимались любовью. Она вздохнула. Она выключила телевизор. Она посмотрела в зеркало. Она была там одна некрасивая. Она вздохнула. Она отвернулась. Она посмотрела снова. На этот раз их было две. Оу, а вот это уже интересно.

Что бы пересказать историю этого персонажа, пожалуй, не хватит, и целого дня от полудня до самого заката, а то и до полуночи. Конечно, бывают и такие, что не уложиться и в год, но вы только представьте себе – двенадцать часов подряд, и то если упустить все детали, и то будет мало. Но вам, так и быть, я расскажу в паре слов. Вот он был молод и улыбался каждому дню. Вот он услышал о ней, она была невесть, как хороша. Он, естественно, всё. На месте. И помчался. Были там и мордобои и оскорбления и прочее «не при дамах». Но закончилось всё свадьбой. После этого он пошёл в тёмный лес и ночью на него напали разбойники. Конец. Шучу, но вы, ведь купились, правда?

Из жизни в жизнь она была одержима злым духом любви. Из жизни в жизнь её расстреливали, душили, сжигали, давили, как голубя на оживлённом шоссе, отчитывали, вешали, запирали на ключ. Запирали на замок. Запирали в подвале. Бросали. Со скалы, в море, одну, с дочерью. А она возвращалась снова и снова босоногая на чёрствую запылённую землю, с распущенными волосами, протягивала руки вперёд и шептала высушенными губами: Любимый, любимый. И ветер овевал её лицо. И ей не было больше страшно. Как будто бы она никогда не знала, как будто бы она не помнила. Любимый.

Хейден Кристенсен, Кубер Педи, Deus ex machina Venice, Камамма ту, Wunam, Хэлен Холл

Джачинто Шельси граф Вальва

Некто Шамдар

моя-твоя сторона дороги, моя-твоя сторона дороги

Тибальт, Тибо, Тибау

Улукке, Иида, Танеда, Тиё

мы неспешные тени в ладонях города

Рэнэ, Рэнэ, Рэнэ Магритт

Эле Грессэт

сохрани его для меня помятым, пустым, безголосым

Специя, Лигурия, Италия 8 января 1905 – 9 августа 1988

идёт, он идёт

прощупывает каждую пядь земли

ступает осторожно

Слушая долгие гудки телефона, и запрокинув голову на спинку кресла, он пытался вспомнить свой сон.

Он проснулся сегодня в шесть утра, от того, что на водосточной трубе, как раз под распахнутым окном, за закрытой шторой, дрались голуби. Ткань дёргалась и трепыхалась так сильно, что он мог рассмотреть серые крылья. Он не был суеверен, но сегодня ему показалось, что если одна из птиц залетит в комнату, то он скоро узнает о смерти кого-то из близких. На теле распласталось знакомое липкое ожидание. Он хотел сосредоточиться на дыхании, но внезапно забыл, как душать. Лёгкие отказывались выдыхать углекислый газ, он начал задыхаться. Вместо того, чтобы закрыть окно, он лежал под простыней, голый и мокрый, разучившийся двигаться. И ждал, когда в комнату залетят голуби, станут метаться между непривычных стен, завизжат, он ненавидел их в тот момент. Он предпочёл бы забыть, но он помнил, как ветром внезапно подняло штору и как они смотрели на него бесконечно долго, а потом вдруг сорвались и улетели.

На том в конце не отвечали. Он повесил трубку и двумя пальцами потёр глаза. Он подумал:

«Нарушение сна, приступы паники, навязчивые идеи. Друг мой, а не шизофрения ли у тебя?» Он был психологом.

«Голубиная шизофрения, -- подумал он, -- болезнь, названная в честь доктора… А, глупости»

Он закурил сигарету. Он редко курил, но всегда по делу. Сейчас на журнальном столике лежала полная пачка. Впрочем, он не был уверен, что этого хватит. Он ни в чём не был уверен.

Он выпустил дым и попытался вспомнить сон.

Ослепительно белая рубашка. На ней была ослепительно белая рубашка. Великовата ей по размеру, она закатила рукава до самого локтя. Она говорила с ним о чём-то.

Он знать её не знал. Она требовала, чтобы они куда-то отправились. Это было вполне естественно.

Или всё было не так?

Он помнил рубашку. Белую.

«Забавно», -- подумал он.

Он снова набрал номер и сделал затяжку.

Гудки в трубке скоро прекратились, и на том конце повисла тишина. Он замер.

-- Ты что-то хотел? – спросил его голос.

Он ничего не ответил, вслушиваясь в эту паузу, повторяя про себя бесконечно «Ты что-то хотел?», стараясь сохранить интонацию и тембр.

-- Ты придурок, даром, что психиатр, -- сказал голос.

-- Психолог, -- поправил он, делая новую затяжку.

-- Скотина, -- ответил голос, и пошли короткие гудки.

Он немного послушал их и повесил трубку. Он любил старые телефоны. Они его успокаивали, он опрокинулся на спинку кресла и непроизвольно рассмеялся. У него отлегло.

-- Ты пробовал кокаин?

-- Только на вкус.

-- Ну, и как?

-- Как у стоматолога.

-- Почему?

-- Язык немеет.

--… Ну, а на вкус как?

-- Паршиво. Горько и кисло.

Она любила, когда её душат.

-- Клермон-Ферран, -- повторил он, он взял этот город, как берут октаву, как берут за руку старого друга, своим густым, видавшим виды голосом, голосом старого полосатого волка.

«Полосатого волка», - подумал Тимо («Именно»).

-- Люблю этот город, -- продолжил он, -- Не был здесь уже лет 8. С тех самых пор, когда… Ты помнишь? Да, уже восемь лет прошло.

«8 лет, -- подумал четырёхлетний Тимо на заднем сидении, -- Это же целая вечность».

Они ехали долго, успело стемнеть. Тимо растянулся на заднем сидении. Пыльные сандалии, белые носки, шорты, подтяжки. Он больше не вслушивался в слова, а вглядывался своим карими глазами в летние сумерки, первые выныривавшие из ниоткуда звёзды. Они полоскались там, в Космосе целые миллиарды тысячелетий и каждый день появлялись там, наверху, как будто ы это в порядке вещей.

Тимо смотрел очень внимательно.

«8 лет – это целая вечность подумал он».

А он, сидевший на переднем сидении, потихоньку подглядывал в зеркало за этим смешным серьёзным мальчиком, и где-то внутри него, там, где он и не подозревал, рождались маленькие светлые вселенные.

Бог снял шорты и побежал по заросшему полю.

Бог снял шорты и побежал по дороге в осколках.

Бог снял шорты и побежал по морю.

Бог снял шорты и побежал.

Ему нравилось. Так просто. Ничего лишнего. Отчего люди так не делают…

Он почему-то любил соек. Это была какая-то необъяснимая привязанность. Он пока не придумал, как это называется. Ему было немного неловко перед другими птицами. Поэтому все они научились летать. Почти все. Это ужасно смешно, птица, не умеющая летать, -- сказал Он и оставил страусов и пингвинов.

С людьми было куда проще. Он их не понимал. То есть, он понимал их слишком давно и слишком подробно. И теперь ему надоело, и он просто наблюдал за ними.

Садился где-нибудь в толпе в старой порванной майке. Никто не обращал внимания.

«Очень удобно», -- говорил он себе. Очень удобно.

Пока не выгорели наши дома,

И стопы наших ног не поросли травой,

Я успею сказать тебе

Когда на каждом шагу умирают тебе-подобные,

Такие красивые, Господи, с такими спокойными лицами,

Небо печёт, сжигает поля,

Оно молится богам, которых мы больше не знаем

В стране, где между полом и потолком играет музыка,

И её тоскливый мотив ветер скручивает над пепельно-серой площадью,

Никто не выжил, никто не выжил

Слёзы текут по лицу и потопом опрокидываются в Космос,

В них тонут с криком самолёты и двуногие птицы,

А мы ходим между лучей солнца и бережно собираем тонкие белые ракушки.

Рука об руку

Откройте двери! Я задыхаюсь! Мне душно в стенах! Скорее, скорее, откройте двери! Слышите? Кто-нибудь! Я задыхаюсь, Господи, как кружится голова…

Кричи, кричи, душа моя! Я хочу, чтобы ты кричала! Поставьте крепкие замки, зацементируйте швы. Ещё не время уходить. Не время. Не время пока уходить.